

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 9. ПЛОТЬ. ДУХ. АПОКАЛИПСИС...

Старушки-омывальщицы закончили своё скорбное дело на полу у порога избы. Покойницу обрядили в белое (уйдёт в чистоте, такую, какая пришла на землю при рождении) – даром, что Прасковья при жизни в чёрном ходила. Чёрный же плат лёг на седые волосы.

*Четыре вдовы в поминальных платках:
Та с гребнем, та с пеплом, с рядниной в руках;
Пришли, положили поклон до земли,
Опосле с ковригою печь обошли,
Чтоб печка-лебёдка, бела и тепла,
Как допрежь, сытовые хлебы пекла.
Посыпали пеплом на куричий хвост,
Чтоб немочь ушла, как мертвец на погост,
Хрущатой рядниной покрыли скамью,
На одр положили родитель мою.*

Старинный обряд, позже описанный Клюевым в “Избьных песнях”, сопровождался традиционными на Севере плачами. “Вытьё” – дань уважения и любви к отошедшей, хотя ещё древнерусская церковь накладывала запрет на плачи и вопли народные, как на языческие, как на свидетельство отсутствия веры в бессмертие души. Пётр I вообще специальным указом наложил запрет на похоронные плачи, но никакие запреты в народе не соблюдались.

*Столько вийте-тко вы, буйны ветероченьки,
На эту на могилу на умершую!
Раскатите-тко катучи белы камешки,
Разнесите-тко с могилушки желты пески!
Мать сыра земля теперь да расступилась бы,
Показалась бы колода белодубова!
Распахнитесь, тонки белы саватиночки!
Покажитесь, телеса мне-ка бездушные!*

Плачею и вопленицу достойно провожали – надо многими сама голосила, отправляя их в последнее плаванье. Ныне – сама отчаливает. Сын же – светлый Николушка – сам изготовил нитку бус из озёрного жемчуга – последнее приношение.

“А так у меня были дивные сны, – вспоминал он в “Гагарьей судьбине”. – Когда умерла мамушка, то в день её похорон я приехал с погоста, изнеможенный от слёз. Меня раздели и повалили на пол, близ печки, на соломенную постель. И я спал два дня, а на третий проснулся часов около 2 дня, с таким криком, как будто вновь родился. Во снах мне явилась мамушка и показала весь путь, какой человек проходит с минуты смерти в вечный мир. Но рассказать про виденное не могу, не сумею, только ношу в своём сердце. Что-то слабо похожее на пережитое в этих снах брезжит в моём “Подонном псалме”, в его некоторых строчках”.

“Подонный псалом” родится двумя годами позже. А тогда Николай сам сложил свой плач по умершей, который позднее, по воспоминанию вытегорского старожила, начертал на кресте, воздвигнутом на Верхне-Пятницком погосте на окраине села Макачево:

*Ох, моя жаломнёшенька,
По тебе, родитель-матушка,
В эту осень непроходную
Не капельки с неба капали
Аль снежинки падали,
А по тебе, родитель-матушка,
Детки с батюшкою плакали,
И без тебя, родитель-матушка,
Нам польньню сахар кажется.
И отдали твоё цветное платьице
Нищим любящим.*

...Цикл “Избяные песни”, посвящённый “Памяти матери”, состоящий из 15 стихотворений (это число у православных ассоциировалось с образом Богоматери и знаменовало собой спасительную миссию, искупление, вечную жизнь), будет писаться в течение последующих трёх лет и обретёт свой окончательный вид к 1917 году. Ещё через 10 с лишним лет в “Песни о великой матери” прозвучат её последние слова – монолог, сочинённый поэтом, как пророчество о грядущих потрясениях и указание на то, что покинула этот мир Прасковья Дмитриевна, уходя в заветный Китеж, в незримую Русь перед страшным катаклизмом, который будет переживать её любимое дитя.

*Отчалю в Русь в ладье сосновой,
Чтобы с волною солодовой
Пристать к лебязьим островам,
Где не стучит по теремам
Железным посохом хромец,
Тоски жалеищик и дудец.
Я умираю от тоски,
От чёрной ледяной руки,
Что шарит ветром-листодёром
По перелесицам, озёрам,
По лазам, настбищам лосиным,
Девичьим прялищам, холстинам...*

...А пока – Клюев пишет слёзное душевное письмо Блоку, почтай, первое после годовичного перерыва, где жалуется на своё горе и с гневом и пристрастием вспоминает свои московские и петербургские “гощения”:

“Видно, мне не забыть Вас, дорогой Александр Александрович! Опять тянет поговорить с Вами, выключить от Вас весточку и с ней какую-то звуковую волну – Ваше дыхание. Когда умер у Вас отец и Вы написали мне об этом, я вздыхал и припадал головой к Вашему письму, теперь пришёл черёд Вам пожалеть меня: у меня умерла Мама... Родная моя, сиротинка моя, унывщица и былищица моя – умерла! Теперь я остался только со стариком-отцом, у осиротевшей печи, у заплаканной божницы, у горькой нуды-работушки...

Последняя встреча с Вами непамятна мне: в ней было что-то злое, кто-то загораживал Вас от меня. Запомнилась мне лишь старая, любимого народом письма – икона “без лампадки” (Чья душа?). Я пришёл в отчаяние от Петер-

бурга с Москвой. От уж где всякая чистота считается Самарянскою проказою и потупленные долу очи и тихие слова от жизни почитаются вредными и подлежащими уничтожению наравне с крысиными полчищами в калашниковских рядах, и где сифилис титулован священной болезнью, а онанизм под разными соусами принят как “воробьиное занятие” — походя, даже без улыбки, отличающей человеческие действия вообще, а произвольно, уже без памяти о совершившемся. Нет, уж лучше рекрутчина, снохачество, казёнка, чем “Бродячая собака”, лучше Семёновские казармы, Эрмитаж с гербами и с привратником в семиэтажной ливрее, чем “танец апашей”, лучше терем Виктора Васнецова, чем “Зон”, и крест на месте убиения князя Сергия в Кремле лучше искусства Бурлюка. Я теперь узнал, что к “Бродячей собаке”, и к “Кривому зеркалу”, и к Бурлюку можно приблизиться только через грех, только через грех можно сблизиться и с людьми, живущими всем этим. Я по способности своей быть “всем для всех” пожил два месяца Собачьей жизнью, пил даровой коньяк, объедался яблоками в 6-ть руб. десяток, принимал ласки раздушенных белых, как кипень (и почему они такие белые?) мужчин и женщин (но в баню с ними всё-таки не ездил). Из них были такие, которые чуть не лизали меня. И ни одной душе не выискалось спросить о моей жизни, о моём труде, о матери!..”

Это напоминает перечисление грехов, в том числе и упоминание о таком тяжком грехе, как употребление алкоголя. (Позже в письме к Виктору Миролюбову Клюев напишет о том же в покаянном тоне: “Я мучусь за последнюю встречу с Вами, всё думаю, что Вы слышали от меня винный запах и судили меня в душе, но поверьте, что я выпил вина по дороге к Вам — только для того, чтобы не мучительна и недолговечна была моя ложь перед Вами, в случае, если привелось бы прибегнуть к ней”). Клюев вспоминает всё: и “казёнку”, и “рекрутчину”, доставившую ему немало бед — и всё это, включая “крест на могиле князя Сергия”, убитого Иваном Каляевым, для него предпочтительнее “образованного столичного общества”. И в письмах другим своим корреспондентам постоянно поминает кошмар своего тогдашнего “общения”: “Вы упоминаете “про весточку” — живу я в бедности и одиночестве со стариком-отцом (мама — былишница и песьлиница-унывщица, умерла в ноябре), с котом Оськой, со старой криворогой коровой, с жутью в углу, с низколобой печью, с тупоногой лоханью, с вьюгой на крыше, с Богом на небе. В Питер я больше не собираюсь... Правда, много было знакомых в Питере, угощали даже коньяком, не жалели даже половинкой яблока угостить (как дать целый, когда яблоки 4 руб. десяток), но пока приветил один только Вы...” (из письма Я. Израилевичу). “Былинница, песьлиница моя умерла — “от тоски” и от того, что “красного дня не видела”... Неужели и у меня жизнь пройдёт без “красного дня”? Помните, Вы у Городецких пожалели меня — назвали бедным, — как взъелась мадам Городецкая за это на меня — стала Вас уверять, что я вовсе не заслуживаю таких слов, что я устроюсь гораздо лучше Сергея. Какая холодность душевная! Сколько расчёта в словах оскорбить человека, отняв возможность возражать! Тяжко мне, Виктор Сергеевич. Много обиды кипит у меня на сердце против Питера, из которого я вынес триковую пару, да собачью повестку на лекцию об “акмеизме”...” (Из письма В. Миролюбову). “Я слышал, что ты в переписке с Городецким — он писал о туркестанском альманахе в “Речи” и хвалил тебя, — мол, в лице Ширяевца мы имеем новую поэтическую силу, идущую прямо от земли, как Клюев и Клычков. Песни Ширяевца отмечены печатью богоданности, тем, что они не могут не петься. В них мы опять имеем то драгоценное совпадение форм искусства, лично-народного и нашего литературного, которое так поразило всех в Клюеве. Талант волжского певца силён и несомненен, а пример Клюева показывает, как русское общество дорожит певцами народа, когда узнаёт их и о них”. Вот уж не дай Бог, если русское общество отнесётся и к тебе так же, как ко мне! Если бы я строчил литературные обзоры, я бы про русское общество написал: “Был Клюев в Питере — русское общество его чуть не лизало, но спустя двадцать четыре часа русское общество разочаровалось в поэтическом даровании этого сына народа, ибо сыны народа вообще не способны ездить в баню с мягкими господами и не видят преображения плоти в педерастию”... (из письма А. Ширяевцу).

Уход матери развязал какой-то незримый узел в душе Николая. Она ушла — и стала его вечной покровительницей там, а здесь — он остался сиротой

(смерть отца через пять лет он уже не ощутит как сиротство) и в то же время освободился от некоего внутреннего зажима. Её уход как бы по-новому высветил для него все контрасты деревенской жизни и жизни городской, точнее, барской в городе, и лицемерие барами деревни как скопища темноты и скотства, положило окончательный предел в мерещившемся некогда “взаимопонимании”, о чём он и даст недвусмысленно понять в своём последнем письме к Блоку, которому более уже не напишет:

“У меня на столе старая, синяя, глиняная кружка с веткой можжевельника в ней. В кружку налита горячая вода, чтобы ветка, распарясь, сильнее пахла. Скажите это кому-либо из Собачьей публики. Вам скажут, что, по Бунину, деревне этого не полагается (мне часто говорили подобное). И не знает эта публика, что у деревни личин больше, чем у любого Бунина, что “свинья на крыльце” и “свиное рыло”, и Сергей Радонежский, а недавний Трошка Синябрюхов, сейчашный Трофим Иванов по формуляру (в командировке Валентин Викентьевич Воротынский), око охраны и кокотка Норма (на деревне Стешка) — только личины, только “Бесовское действо” в ночь на “Воскресенье”.

Я вспомнил “Бесовское действо” Ремизова, прибавлю, что это всеславянское писание, вещественное доказательство Буниным, что “Золотой вертеп” и “Святой вечер” нетленны на Руси. Быть может, потрудитесь передать мой поклон Ремизову”.

Для Клюева ношение “личин” не благо, а проклятие. В письме Миролюбову содержится горькая жалоба на Леонида Семёнова, казалось бы, такого близкого — и то принявшего своего друга за иного: “Я не знаю, какой мудростью предписано такое поведение и такая любовь, которые на практике становятся жерновом остальным на шею ближнего, и вера, которая уничтожает самый предмет веры, т. е. вера в то, чего вовсе нет. Например, помню, я ему говорил, что ношу золотые часы и не умею распрячь лошади, и не знаю, что такое вилы с тремя железцами, — и он не улыбнулся, не сказал легко, “что этого не может быть”, а забранился на меня, твёрдо уверовав в слова, как в действительность. Такая вера у наших монахов зовётся бесовской, и про такого человека говорят, “что он в беса верует”. Эта вера и не народна, потому что во главу угла ставит радость Франциска Ассизского: “Когда изобьют тебя и выгонят на снег люди”...” “И не желай, чтобы они — люди — стали лучше, так как кто тогда даст тебе побои ради Господа?” И ещё: боязнь поделиться своей праведностью с людьми, запачкать свои одежды... эта боязнь-любовь не допустить того, чтобы прикрыть своей хламидой блудницу на ложе греха или отдать себя на растление ради чистоты другого. Древние святые ходили в публичные дома, чтобы если не чере/з/ любовь, то через грех приблизиться к людям; теперешних же святых приблизит к людям только меч — про который сказано в Евангелии: “И купите себе меч, чтобы не погибнуть вам напрасно”. Я понимаю это буквально, т. е. есть люди, которых полезно и специально встряхнуть за шиворот, и чаще всего для таких людей спасительно преступление, даже убийство: как с/вятому/ Павлу убийство Стефана, Петру — отсечение уха Малхова (покушение на убийство) и отречение с клятвой и т. д. Как и поётся в одном русском стихе:

*А злодея Бог ды помилует,
Душегуба Бог ды пожалует
Как честным венцом —
Ликом андельским.
А как кукицу-богомолуцу
Он помилует да пожалует
Мукой огненной, удой медною.*

Нет, уж если я и святой, то и греха не должен бояться, чтоб не впасть в ложь, как лисица в капкан, чтоб не пришлось перегрызть ей собственную лапу — для спасения “жизни” — настоящей и будущей”.

Слишком много сказано в этом письме и слишком многое нуждается в расшифровке. В первую очередь, подобная откровенность перед Виктором Сергеевичем Миролюбовым — Клюева, уже в совершенстве овладевшего искусством носить личины. Из интеллигентской питерской публики для него лишь два человека останутся достойными такой тональности в беседе-

нии – письменном или устном: Миролюбов и Иванов-Разумник. Через десять без малого лет Николай со всем возможным для него теплом отзовётся о первом – опять же по контрасту с прочими, причём в вопросе, для Ключева важнейшем: “Лучшие мои произведения всегда вызывали у разных учёных, у людей недоумение и непонимание. Во всём Питере и Москве мои хлыстовские распевцы слушал один Виктор Сергеевич Миролюбов. Зато в народе они живы за красоту, глубину и подлинность. Разные бумажные люди, встречаясь с моим подлинным, уподоблялись журавлю в гостях у лисы: не склевать журавлю каши на блюде. Напоследок я плюнул на всякие учёные указания и верю только любви да солнцу”.

* * *

И ещё один мотив настойчиво вторгается в ключевские письма – мотив греха. Мотив растления. Растления русского общества в Питере – и собственного греха, о котором он впервые открыто говорит в письмах. Невозможно не понять, что речь идёт о грехе однополой любви.

Через десять без малого лет, повествуя о своём бегстве с Соловков с мистиком – новым учителем, о пребывании у скопцов и новом бегстве уже от них, о скитаниях по Кавказу, Ключев расскажет Архипову и о том – как и где состоялась роковая встреча, приобщившая его к этому греху.

“Помню, на одной дороге в горах попал я на ватагу смуглых оборванных мальцев, и они обступили меня, стали трепать по плечам, ласкать меня, угощать яблоками и рассыпчатыми белыми конфетами. Кажется, что это были турки. Я не понимал по-ихнему ни одного слова, но догадался, что они зовут меня с собою. Я был голоден и без денег, а идти мне было всё равно куда.

В сакле у горного ключа, куда меня привели мальцы, мне показалось очень приветно... Наварили лапши, принесли вина и сладких ягод, пили, ели... Их было всего человек восемь; самый красивый из них, с маковыми губами и как бы с точёной шеей, необыкновенно лёгкий в пляске и движениях, стал оспаривать перед другими своё право на меня. Завязалась драка, и только кинжал красавца спас меня от ярости влюблённой ватаги.

Дня четыре эти люди брали мою любовь, каждый раз оспаривая меня друг у друга. На прощанье они дали мне около 100 руб. денег, кашемировую рубаху с серебряным кованым поясом, сапоги и наложили в котомку разной сладкой снеди.

Скала, скрывающая жгучий ключ, была пробита. Передо мною раскрылся целый мир доселе смутных чувств и отныне осознанных прекрасных путей. В тюрьме, в ночлежке, в монастыре или в изысканном литературном салоне я утешаюсь образом Али, похожего на молодой душистый кипарис. Позже я узнал, что он искал меня по всему Кавказу и южной России и застрелился от тоски”.

Так описывается эта встреча в “Гагарьей судьбине”. А ещё тремя годами раньше тот же Архипов записывал в Вытегре под диктовку Ключева:

“Осознание себя человеком произошло со мной в тёплой закавказской земле, в ковровой сакле прекрасного Али. Он был родом из Персии и скрывался от царской печати (высшее скопчество, что полагалось в его роде Мельхиседеков). Родители через верных людей посылали ему серебро и гостинцы для житейской потребности. Али полюбил меня так, как учит Кадра-ночь, которая стоит больше, чем тысячи месяцев. Это скрытное восточное учение о браке с ангелом, что в русском белом христианстве обозначается словами: обретение Адама...”

Али заколол себя кинжалом...

Меня арестовали на Кавказе; по дороге в тюрьму я угостил конвойных табаком с индийским коноплём и, когда они забесновались, я бежал от них и благополучно добрался до Кутаиса, где жил некоторое время у турецких братьев-христиан...”

“Осознание себя человеком...”... О многом говорит эта фраза, если учесть, что Ключев имеет в виду “плотского человека”, – а до этого он ощущал себя “в духе”, а не “во плоти”, был существом духовным, перед которым были открыты пути дальнейшего совершенствования.

Случайно ли обратился мистик с камнем “Шамаим” в Соловках именно к Николаю, к которому у люди, и звери шли? И была ли случайной эта встреча, или “Али из рода Мельхиседеков” был послан тропой, знакомой лишь посвящённым, на встречу с тем, кому ранее была уготована судьба духовного водителя?

Так состоялось приобщение Клюева, по его словам, к однополой любви — и это приобщение слилось в его восприятии с познанием — через порочную любовь — Востока. “Ночь могущества лучше тысячи месяцев”, — цитирует Клюев суру из Корана. Кадра-ночь — ночь могущества Аллаха, ночь, в которую пророк Мохаммед познаёт Коран, вложенный ему в уста архангелом Джабраилом, что послан самим Аллахом... Происхождение Али из “рода Мельхиседеков” — тоже имело для Николая немалое значение: Мельхиседек, царь Салимский, в Книге Бытия выносит вернувшемуся с войны Аврааму хлеб и вино и благословляет Авраама, принимая от него десятую часть добычи. А в 109 псалме Давида говорится, что Мессия будет “священником по чину Мельхиседека”. И у апостола Павла в “Послании к Евреям”: “Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по чину Мельхиседека”. Провиденциальность этой встречи для Клюева подчёркивалась ещё и воспоминанием о пребывании у христов, где он был и “Христом”, и “Давидом”... Словно “высшие силы” соединяли “избранников” и определяли его собственную судьбу. И сравнение здесь Али с кипарисом — это не просто восхищение его красотой, если вспомнить, что кипарис в “Стихе о Голубиной Книге” — “мать всех деревьев”, из него был сделан крест, на котором распяли Христа.

Так Николай стал объектом манипуляций — сначала “наставника с агатом”, потом христов и скопцов и, наконец, Али... Трудно отделаться от мысли, что все эти манипуляции преследовали одну цель — прервать на Руси традицию духовного наставничества, идущую от Сергия Радонежского к Серафиму Саровскому и не дошедшую до нового избранника.

Когда “посвящённые” в таинство “обретения Адама” потеряли друг друга и по какой причине, из-за ареста Николая или ещё до него, и сколько времени длились клюевские скитания по Кавказу, какими перипетиями сопровождались — сказать невозможно... Через три примерно года после того, как записал Николай Архипов “Гагарю судьбину” — он же зафиксировал и такое клюевское выражение: “Лучше врать, чем быть верным и точным до одуряющей тоски, до зелёной скуки”. И кажется, что Клюев сочинил красивую сказку с терпким привкусом адской смолы. В 1934 году на допросе в ОГПУ он показал, что первый его опыт однополого соития относится к 1901 году, то есть к семнадцатилетнему возрасту. Если учесть, что на этот год приходится документально зафиксированная учёба Клюева в фельдшерской школе, то вся история о Кавказе, рассказанная Архипову, — миф, но тот миф, о котором писал А. Ф. Лосев: “Миф есть бытие личностное, или, точнее, образ бытия личностного, личностная формула, лик личности... Не... догмат, но история”. Но если учесть, как тот же Клюев “путал след”, смещая даты своей жизни...

Если бы всё рассказанное Клюевым было бы сплошной выдумкой — ему ничего не стоило бы расписать свои дальнейшие приключения в самых ярчайших красках — и воображения, и художественного дара хватило бы... Но единственно, о чём упомянул Николай — о пребывании в Кутаисе у турецких братьев-христиан. О турках-христианах идёт ли речь, или о сектантах, главная община которых была на турецкой земле (кстати, немало староверов обрелось там во второй половине XIX — начале XX века) — не определишь... Правда, Иванов-Разумник в своих воспоминаниях, писанных уже в годы Второй мировой войны, вспоминает рассказы Клюева о его пребывании в Баку на конспиративной квартире, которая “служила явочным местом для посетителей из секты “бегунов”, державших постоянную “эстафетную связь” между хлыстами олонецких и архангельских северных лесов и разными мистическими сектами... Индии... Всё это похоже на сказку — и в то же время это доподлинная быль, о которой Клюев рассказывал интереснейшие вещи (далеко не всем)...” Это “далеко не всем” заставит задуматься любого скептика, если ещё учесть, что клюевские рассказы не предназначались ни для какой печати, и кроме Архипова и Иванова-Разумника никто больше о подобных рассказах Клюева не вспоминал. Другое дело, что Иванов-Разумник, в отличие

от Архипова, не записывал сказанное непосредственно за рассказчиком и уже невозможно определить — точно ли он помнил, что говорил ему Ключев — и адекватно ли он его понял. . .

Во всяком случае, мы вправе предположить здесь, что “братья-христиане” вытащили Николая из круга “мальцов”, а Али был попросту зарезан за то, что посягнул на единоверца — арест Ключева был связан как раз с гибелью ревнителя “Кадры-ночи”. . . После бегства от стражников бывший соловецкий послушник и был поселен на “конспиративной квартире”, где имел возможность отсидеться некоторое время. . . Но всё это из области предположений и реконструкций. Здесь важно подчеркнуть следующее.

Общение с восточными язычниками, мусульманами, сектантами разных толков, очевидно, и с суфиями, также имевшими свои общины на Кавказе, — всё это кирпичик к кирпичику, компонент к компоненту формировало духовный мир Николая, настраивая его на совершенно особый лад. Общение сопровождалось и чтением самой разнообразной духовной литературы, не чужд был в этот период Ключев, увы, и соблазна введения себя в транс путём приёма наркотика (вспомним о табаке с “индийским коноплём”). Совершенствовал он и традиционные эзотерические методики введения себя в пограничное состояние между здешним и нездешним мирами, достигая ясновидения, о чём поведал тому же Николаю Архипову: “О послушании моём в яслях и купелях скопческих в Константинополе и Смирне, в садах тамошних святых тебе, милый, выведывать рано, да и не вместишь ты ангельского воображения. . .

Саровский медведь питается мёдом из Дамаска”.

Как многозначительна последняя фраза! Первое, что вспоминается — медведь, приходивший к келье Святого Серафима. Но нельзя не вспомнить и того, что истовые стареры не признавали Серафима святым, как канонизированного новообрядческой церковью, считая, скорее, колдуном. . . Для Ключева же Серафим — святой, и сам он соотносит себя и с Серафимом, памятуя о своём изначальном предназначении, и с медведем — сакральным животным на Руси.

А “мёд из Дамаска”. . .

Вот тут уж можно было дать волю своей фантазии — но Ключев не фантазировал, лишь упомянул об “ангельском воображении”. . . Доступное в видениях ему — недоступно более никому другому. И совершенно напрасно Архипов позднее иронически комментировал: “Ключев ни в Персии, ни в Китае, нигде за границей не был, но держался так, как будто был”. Человек, которому доступны эзотерические видения, может спокойно “держаться так, как будто был”, ибо был — в духе, временно отлетевшем от грешной плоти.

. . . Когда Николай снова переступил порог родного дома и обнял родную мать — он рассказал ей обо всём, что с ним приключилось. Встретили его тогда, как блудного сына, хотя для Прасковьи Дмитриевны происшедшее было настоящим ударом. Мало того, что нарушил родительский наказ, из монастыря ушёл, крест с себя снял, с хлыстами водился — ещё и с язычниками в срамных игрищах участвовал, порченным стал — и перекрыл себе (пусть и временно) пути духовного совершенствования, на которые мать наставляла. . . Пусть свершилось на время преодоление соблазна, вернулся Николай ко Христу, и снова крест на его груди — но расплелась тончайшая, незримая нить, соединяющая мать и сына, — и все рассказы Николая о том, что открылось ему в его скитаниях, на Прасковью Дмитриевну уже не действовали. Она осталась для него самым дорогим человеком на земле, но пропасть взаимного непонимания, видимо, переступить было уже невозможно.

Нетрудно, зная это, понять — как отнёсся Ключев к свинскому поступку Брихничёва, прилежно зафиксировавшего на газетной странице жалобы Ключева на домашнюю жизнь, ещё и по-брихничёвски проинтерпретированным словам Николая о непонимании родителями сына и их “неграмотности”. . . Не о грамоте книжной речь — об иной, открывшейся Ключеву в его скитаниях.

“От норвежских берегов до Усть-Цыльмы, от Соловков до персидских оазисов знакомы мне журавинные пути. Плавни Ледовитого океана, соловецкие дебри и леса Беломорья открыли мне нетленные клады народного духа: слова, песни и молитвы. Познал я, что невидимый народный Иерусалим — не сказка, а близкая, родимая подлинность, познал я, что кроме видимого устройства жизни русского народа как государства или вообще человеческого общества существует тайная, скрытая от гордых взоров иерархия, церковь

невидимая — Святая Русь, что везде, в поморской ли избе, в олонечкой ли поэмке или в закаспийском кишлаке есть души, связанные между собой клятвой спасения мира, клятвой участия в плане Бога. И план этот — усовершенствование, раскрытие красоты лика Божия”.

(Познания даром не дались. Домой он вернулся, изрядно подорвавший здоровье, и физические недуги с молодости периодически одолевали его, но менее бурной жизнью он жить не стал.)

Об этом обо всём Клюев рассказывал в 1922 году, а первые упоминания о скитаниях по Кавказу приходятся на 1919-й, когда не было уже в живых никого из родителей. И уж, естественно, крепкая печать лежала на устах Николая, пока здравствовала мать. Мотивы Востока, скопчества и однополого блуда проявятся в его стихах уже после смерти Прасковьи Дмитриевны. Именно её кончина развязала ему язык, а отнюдь не стремление “подладиться” под окружающую литературную среду “новой мифологией”.

* * *

Вот с этим нажитым опытом (в духе — безусловно нажитым) и вошёл Клюев в московскую и петербургскую литературную жизнь. И узрел тамошние нравы. И увидел наркоманов, педерастов, “интеллигентных” шлюх, мальчиков и девочек со склонностью к суициду (самоубийства совершались чуть ли не через день), “мудрецов”, одержимых проблемами половой жизни и млеющих в разговорах об “одиноких”, “кошкодавах” и прочих тогдашних “неформалах”. (Натуральная картина позднего Рима и поздней Византии перед гибелью.) И тянувшийся душой к полюбившейся женщине, и не могущий ничего сделать со своей грешной плотью, что тянула его в другую сторону, на ощупь находящий слова для творческого претворения этого разрыва — узрел равнодушный, ни к чему не обязывающий разврат “интеллигентного общества” столицы, где “беременный мужчина” Бурлюка прекрасно соседствовал с банными описаниями кузминских “Крыльев” (“баня с мягкими господами” во многом навеяна этими описаниями наряду с картинами из жизни “жоржиков” — Ивановна и Адамовича, для которых гомосексуальный разврат был привычным делом и которые, в конце концов, смотались в Европу, избегая уголовного преследования за убийство партнёра). Кланялся Клюев Михаилу Кузмину и его “наперстнику” Юрию Юркуну в письме к сыну богатого промышленника, вхожему в литературные круги Израилевичу, интересуюсь мнением Кузмина о “Лесных былях”. Тонкого художника в нём увидел, но человеческой близости не ощутил — напротив. Позже в письме к Есенину он напишет: “А умиляться тем, что собачья публика льнёт к нам, не для чего, ибо понятно и ясно, что какому-либо Кузмину или графу Мон-те-тули не нужно лишний раз прибегать к шприцу с морфием или кокаином, потеревшись около нас. Так что радоваться тому, что мы этой публике заменили на каких-либо полчаса дозу морфия — нам должно быть горько и для нас унизительно”. Знал, что писал. Чересчур легко, точнее, легковесно было бы, вчитываясь в позднейшие клюевские похвалы Кузмину, сводить часть этих похвал к физиологическому интересу. Ведь это клюевское “потеревшись” ясно говорит о том интересе, который он вызывал у Кузмина и его свиты. Такие — узнают друг друга на расстоянии.

Клюев же видел в Кузмине — иное.

“Не поддёрвка А. С. Рославлева, а итальянский камзол, — вспоминал Алексей Ремизов. — Вишнёвый бархатный, серебряные пуговицы, как на архиерейском облачении, и шёлковая кислых вишен рубаха: мысленно подведённые вифлеемские глаза, чёрная борода с итальянских портретов и благоухание — роза.

Заметив меня, он по-лошадиному скосил свой глаз:

— Кузмин.

И когда заговорил он, мне вдруг повеяло знакомым — Рогожской, укусные раскольничьи тётки, суховатый язык, непромоченное горло. И так это врозь с краской, глазами и розовым благоуханием. А какое смирение и ласка в поскакивающих глазах”.

Этот некрасивый, но ласковый и душевный, на поверхностный взгляд, человек, уже попутешествовавший и по Египту, и по Италии, и по старовеческим скитам, член Союза русского народа и свой человек и в доме Вяче-

слава Иванова (автора, в частности, анти-”союзнароднических” стихотворений), и в гумилёвском окружении, в редакции “Аполлона” — писал удивительные стихи, проникнутые своеобразной, ни на кого не похожей интонацией. Клюеву и “Александрийские песни”, и “Духовные стихи”, и “Праздники пресвятой Богородицы” давали обильную пищу для размышлений. Не меньшую пищу предоставляли разговоры вокруг Кузмина — о его “конфидентах”, о Всеволоде Князеве и его самоубийстве, об Ольге Глебовой-Судейкиной... Но разговоры — разговорами, а главным были стихи. Стихи, в которых обыденность гомосексуальной связи возведена в такую степень, что восприятие их как бы полностью стирает грань между женским и мужским полом. Первоначальное впечатление таково, что, читая любовное стихотворение, обращённое к мужчине, воспринимаешь его обращённым к женщине. Подобное возможно лишь в том случае, если у автора напрочь отсутствует, даже в подсознании, представление о своём влечении как о грехе и вообще понятие греха в области подобных взаимоотношений. При всём том, что слово “грех” в данном контексте может и присутствовать: “Пусть сотней грех вонзался жал, Пусть — недостоин, но светлый воин меня лобзал — и я спокоен”... В цикле “Вожатый” присутствует “воин”, сравниваемый, ни больше ни меньше — как с серафимом. В цикле же “Любовь этого лета” из любовных строк напрочь изгнано указание на пол любимого существа, отчего происходящее в цикле, мнится, носит андрогинный характер:

*Глаз змеи, змеи извивы,
Пёстрых тканей переливы,
Небывалость знойных поз...
То бесстыдны, то стыдливы
Поцелуев все отливы,
Сладкий запах белых роз...*

*Замиранье, обниманье,
Рук змеиных завиванье
И искусный трепет ног...
И искусное лобзанье,
Лёгкость близкого свиданья
И прощанье чрез порог.*

Особой будуарной изысканности подобная “любовь” достигает в книге “Глиняные голубки”, в цикле “Ночные разговоры”, посвящённом Юрию Юркуну.

*Бывают мгновенья,
когда не требуешь последних ласк,
а радостно сидеть,
обнявшись крепко,
крепко прижавшись друг к другу.
И тогда всё равно,
что будет,
что исполнится,
что не удастся.*

.....
*Твои руки и грудь
нежны, оттого что молоды,
но сильны и надёжны;
твои глаза
доверчивы, правдивы,
не обманчивы,
и я знаю,
что мои и твои поцелуи —
одинаковы,
неприторны,
достойны друг друга. —
зачем же тогда целовать?*

У Клюева же этот мотив в полной мере пробьётся в стихах, где адское, а не “будуарное” хотение будет соседствовать с мотивом духовного оплодотворения и порождения новой жизни тогда, когда человеческая жизнь обесценится практически полностью. Сейчас же в письмах он, отвращаясь городского интеллигентского блуда, пишет Ширяевцу не без иронии над происходившим на его глазах, над жалобами Ширяевца на любовную неудовлетворённость и над собственными физическими позывами: “В феврале был в Спб Клычков, поэт из Тверской губернии из мужиков, читал там в литературном интимном театре под названием “Бродячая собака” свои хрустальные песни, так его высмеяли за то, что он при чтении якобы выставил брюхо, хотя ни у одной петербургской сволочи нет такого прекрасного тела, как у Клычкова. Это высокий, с соколиными глазами юноша, с алыми степными губами, с белой сахарной кожей... Для меня очень интересна твоя любовь и неудовлетворённость ею. Но я слышал, что в ваших краях сарты прекрасны обходятся без преподавательниц из гимназий, употребляя для любви мальчиков, которых нарочно держат в чайных и духанах для гостей. Что бы тебе попробовать – по-сартски, авось бы и прилюбились, раз уж тебя так разбирает, – да это теперь и в моде “в русском обществе”. Хвати бузы или какого-нибудь там чихирю, да и зачихирь по-волжски. Только обязательно напиши мне о результатах...” В ответ на последовавшее недоумение Ширяевца такой откровенностью – ещё более уточняет: “Почему тебе кажется, что мне не идёт говорить про любовь и сартские нравы – я страшно силен телом, и мне нет ещё 27-ми годов (на самом деле Клюев был годом старше. – С. К.). Встречался я с Клычковым, и всегда мы с ним целовались и дома, и на улице... Увидел бы я тебя, то разве бы удержался от поцелуев?...” Духовные отношения для Клюева были всегда важнее физических, и, естественно, осознавая свой порок, как несмыываемый грех, он пытался претворить его в чувство братской любви, а недостижимость для него женщины, которой он физически сторонился, как “дьявольского сосуда” (чем опять же нарушал Божью заповедь), претворял в братско-сестринские отношения. Не исключено, что он здесь и проверял своего собеседника в отношении к нему самому (как проверял в другой области Леонида Семёнова – не выдержавшего этого испытания) и больше “давил” на интимную сторону в контрасте с описанными питерскими “игрищами”... А ещё подобные откровения в сочетании с похвальбой своим здоровьем, которого, на самом деле, было не очень много (болезни преследовали Николая одна за другой), скорее, давали возможность хоть немного заглушить страх смерти, который всё чаще и чаще одолевал его... Впрочем, подобные откровения возможны были для него лишь перед человеком, которого он, действительно, ощущал близким себе по духу – чувство сиротства после ухода матери его не оставляло, а поведение расхвалившего его и рядящегося в близкого друга Городецкого уж слишком хорошо напомнило Николаю поведение Брихничёва.

“Потрясает неволью идущая Жизнь. Потрясает и грядущая гибель себя наружного: горьким соком одуванчика станет прекрасное, столь любимое тело моё. Чему я радуюсь, так это, к изумлению моему, народившимся врагам своим: Иван Гус ел арбуз, Брихничёв корки подобрал, но от этого Гусом не стал – и Брихничёв стал врагом моим. (Врагом-то врагом, только личные контакты всё равно не прервались – и звал Брихничёв Клюева ещё с собой в дальнейшие странствия по Азии. – С. К.) Откуда-то вынырнуло и утвердилось понятие, что с появлением “Лесных былей” эпосу Городецкого приведётся зарыться до смерти, и Городецкий закатил болотные пялки и загукал на мои песни, и т. д. и тому подобно/е/...” (Из письма Валерию Брюсову.) Это – констатация факта, а в письме Ширяевцу – дружеское увещание: “Я предостерегаю тебя, Александр, в том, что тебе грозит опасность, если ты вывернешься наизнанку перед Городецким. Боже тебя упаси исповедоваться перед ним, ибо им ничего и не нужно, как только высосать из тебя всё живое, новое, всю кровь, а потом, как паук муху, бросить одну сухую шкурку. Охотников до свежей человеческой крови среди книжных обзорщиков гораздо больше, чем в глубинах Африки. Городецкий написал про меня две статьи зоологически-хвалебные, подарил мне свои книги с надписями: “Брату великому слава”, но как только обнюхал меня кругом и около, узнал мою страну-песню (хотя на самом деле ничего не узнал), то перестал отвечать на мои письма и недавно заявил, что я выродился, так как эпос – не принадлежащая мне область (судя по всему, в этом выступлении Городецкий впрямую поле-

мизировал с Гумилёвым, отвечая на слова последнего, что “в творчестве Клюева намечается возможность поистине большого эпоса”. — С. К.). Вероятно, он подразумевает свою “Иву” (а ведь читал Клюев восторженные отзывы того же Гумилёва об “Иве” и в “Гиперборее”, и в “Аполлоне”: “Читая его стихи, невольно думаешь больше, чем о них, о сильной и страстной и вместе с тем по-славянскому нежной, чистой и певучей душе человека, о том расцвете всех духовных и физических сил, который за последнее время начинают обозначать словом “акмеизм”...” “Эта безудержность творческих сил, отсутствие колебания перед выполнением задуманного и единообразие стиля, при самых различных попытках, обличают натуру стремительную и крепкую, вполне достойную героического двадцатого века... Мечтающий о мифе Сергей Городецкий понял, что ему необходима иная школа, более суровая и плодотворная, и обратился к акмеизму. Акмеизм (от слова акме — расцвет всех духовных и физических сил) и есть мифотворчество. Потому что что же, если не мифы, будет создавать поэт, отказавшийся и от преувеличений, свойственных юности, и от бескрылой старческой умеренности, равномерно напрягающий все силы своего духа, принимающий слово во всём его объёме, и в музыкальном, и в живописном, и в идейном, — требующий, чтобы каждое создание было микрокосмом...” Убрать все гимны акмеизму, оставить последнюю фразу — и словно не о Городецком, а о самом Клюеве речь, но все сии похвалы — Городецкому, который уже не пьёт “как воду чистую ключа кипучего” клюевскую “любовь” — но всячески старается принизить своего “соратника”. — С. К.). Вот милый, каковы дела-то... Брат мой: не исповедуйся больше, не рассылай своих песен каждому. Не может укрыться город, на верху горы стоя...”

С нежностью и заботой, сочетающейся со строгой требовательностью, пишет Николай Ширяевцу о его стихах, поминая и “литературщину”, и “неискусность”, и “шелудивые слова”, от коих надо избавляться. Жалуется на бедность и на то, что не дошёл до него гонорар за стихи ни из народнических “Заветов”, ни из “Северных записок” — “тарана искусства по царизму”, как называла их издательница Софья Чацкина (“Получил ли ты с “Ежемесячного” что и по сколько за строку? Пишу это потому, что очень нуждаюсь. Мама умерла: на руках у меня 70-летний отец, пеку и варю сам, мою пол, стираю — всё это надбавка к моей лямке”), и чередует эти жалобы с картинами северной красоты, приглашает Александра бросить Ташкент, устроиться где-нибудь в Архангельском округе, шлёт ему открытки с изображениями родного края... “Ты правду сказал, что на нас с Клычковым ни/ч/ то не висит, кроме бедности. Особенно прекрасен мой север с лесами, с озёрами, с избами такими же, какую/ю/ я присылаю тебе. Это /так/ называемая “столбовая или Красная изба/, а есть ещё Белая и чёрная — т. е. курная. У нас не надо картин Горюшкина-Сорокопудова аль Васнецовых — всё ещё можно видеть и ощущать “взаправду”. Можно посидеть у настоящего “косящата окна”, можно видеть и душегрейку, и сарафан-золотарь, и жемчужную поднизь, можно слышать и Сказителя”. В этом воздухе только бы творить, да собственное творчество уже не радует, ибо те сокровища, что носит в себе Николай, не ценятся по их истинному достоинству — не ко двору русские поэты, идущие из глубинной традиции. Его поэзия — лишь отзвук величественной симфонии, где песня человеческой души соединяется в полнозвучии с музыкой природного и нездешнего миров, а у шумящих вокруг современников на душе и уме иное: “Из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам”... “Я могу из падали создавать поэмы”... Всё это в конечном счёте отольётся в формулу (затрёпанную впоследствии и зацитированную) той, к кому он обращался с душевной нежностью, восхищаясь строгостью её поэтических линий и которая “фыркала” на его стихи, за “истощение запаса культурных слов”: “Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...”

Понимание высокой жизни в духе — и поэзии расходятся у Клюева всё дальше и дальше, о чём он и пишет Ширяевцу, увещевая его в невозможности совмещать творчество с жизнью — обыденной ли и обеспеченной “литератора модного” — или общинной, братской, о чём вопрошал его Александр, и на что отвечал ему Николай, сомневаясь и в себе, и в намечаемых лишь пунктиром путях дальнейшего бытия:

“В приезд в Россию Верхарн читал лекцию “О культуре энтузиазма”. Итог этой лекции такой: “Восхищайтесь друг другом, люди”, — а я и без Верхарна знаю, что это так, и живу “восхищённым”. Ещё ты пишешь, что если бы я ни-

чего больше не написал — то и старого достаточно, чтобы я “остался”... Ну разве это утешение? Вот Брюсов так не считает себя “вечным”, а утешается настоящим, тем, что ему подносят цветы, шлют письма, описывают в “Огоньке”... Меня вовсе не радуют свои писанья. Вот издам ещё книжку, — и прикрою лавочку: потому что будь хоть семи пядей во лбу, — а Пушкинские премии будут получать Леониды Афанасьевы да Голенищевы-Кутузовы, — а тебе гнилая изба, вонючая лохань, первачный мякиш по праздникам, а так “кипяток с хлибцём”, сущи да день в неделю крутиковая каша с коровячим маслом, бессапожица и беспорточица, а за писания — фыркanye г/оспод/ поэтов да покровительственный басок г/оспод/ издателей — вот и всё. И ты, милый, не жди ничего другого — предупреждаю тебя... Есть у тебя хлеба кусок, правда, горький, но в случае писательского успеха тебе не перепадёт и крошки... Ты говоришь про общину “Писателей из народа”. Я принимаю братство — жите вкупе вообще людей, а не одних писателей. Община осуществима легко при условии безбрачия и отречения от собственности и довольствования “на-сущным”. Какая радость жить вместе с людьми одного духа, одного Света в очах!.. Есть община в Воронежской губ./ернии/, основана Иваном Беневским по-толстовски, но мне что-то не по себе, когда подумаю об ней. Братству, Шура, писанье будет мешать. Только добровольная нищета и отречение от своей воли может соединить людей. Считать себя худшим под солнцем, благословить змею, когда она ужалит тебя смертельно, отдать себя в пищу тигрице, когда увидишь, что она голодна, — вот скрепы между людьми. Всемирное, бесконечное сожаление — вот единственная программа общежития. Вере же в человека нужно поучиться, напр/имер/, у духоборов, или хлыстов-бельцов, а также у скопцов. Вот, братик мой, с кем надо тебе сойтись, если ты искренне ищешь Вечного и Жизни настоящей. Александр Добролюбов и Леонид Семёнов, два настоящих современных поэта, ушли к этим людям — бросив и прокляв так наз/ываемое/ искусство, живут в бедности и в трудах земельных (сами дети вельмож), их молитвами спасёмся и мы. Аминь”.

Клюев мечется внутренне. Он не может не понимать, что подобное “отречение” от мира, ведущее к созданию своего учения, и поиск своего спасения — воплощение предельного индивидуализма, завершение того духовного раскола, глобальный процесс которого начался в XVI веке. А соблазн — поистине велик. И не может Клюев не чувствовать, что выбор уже сделан, что с избранного пути уже не свернуть, что участие в литературном процессе наложило свои вериги, пожутче тех, которые он некогда носил ради умерщвления плоти. Газетная, журнальная, книжная жизнь требует своего — старания о гонорарах, как единственном способе существования, и которые, действительно, с трудом закрывают материальные прорехи. Заботы о публикациях и отзывах на книги — и хочешь не хочешь, а будешь интересоваться у издателя “Лесных былей” К. Некрасова и переизданием, и тиражом, и деньгами за него. И книги современников спрашивать будешь, дабы быть в курсе новейшей литературы, притворяясь при этом, что о Верхарне не слышал, Бальмонта почти не читал (дескать, подмогните несведущему!), да интересоваться мнением о своих стихах Ремизова, Философова, да того же Михаила Кузмина... А что касается “культурных” и “некультурных” слов, то по этому поводу Клюев исчерпывающе объяснился с Виктором Миролюбовым, посылая ему для публикации в “Ежемесячном журнале” “Скрытый стих”.

“...Сейчас же посылаю Вам мою новую поэму — был бы счастлив, если бы она Вам понравилась. Сложена она под нестерпимым натиском тех образов и слов, которыми в настоящее время полна деревня. Перекроить эти образы и слова так, чтобы они были по плечу людям, знающим народ поверхностно и вовсе не имеющим представления о внутреннем содержании “зарочных”, “потайных”, “отпускных” слов бытового народного колдовства (я бы сказал народного факиризма), которыми народ говорит со своей душой и природой, — считаю за великий грех. И потому в этой моей вещи, там, где того требовала гармония и власть слова, я оставлял нетронутыми подлинно народные слова и образы, которые прошу не принимать только за олонечкие, так как они (слова, наречие) держатся крепко, как я знаю из опыта, во всей северной России и Сибири. Некоторая густота образов и упоминаемых выше слов, которая на первый взгляд может показаться злоупотреблением ими, — создавалась в этом моём писании совершенно свободно по тем же тайным указаниям и законам, по которым, например, созданы индийские храмы,

представляющие из себя для тонкого (на самом деле идущего не из глубин природы) вкуса европейца невообразимое нагромождение, безумное изобилие и хаос скульптур богов, тигров, женщин, слонов, многокрылых и многоликих существ. . .”

“Густота образов и слов” органично вплетается в былинный стих, повествующий о пришествии “на Олон-реку, на Секир-гору” — “нищей братии” разных толков и сект:

*Как Верижники с Палеострова,
Возгорельщики с Красной Ягремы,
Солодяжники с речки Андомы,
Крестоперстники с Нижней Кудамы,
Толоконники с Ершеедами,
Бегуны-люди с Водохлёбами,
Всяка сборица-Богомольщина:
Становилася нища братия
На велик камень, со которого
Бел плитняк плитят на могилица,
Опосля на нём — внукам памятку —
Пишут теслами год родительский,
Чертят прозвище и изочину (отчество. — С. К.),
На суклин щербят кость Адамову.*

“Внукам памятка” — “год родительский” и “изочина” — снова отсылают памятью к ушедшей матери, чья смерть сдвинула мироздание в сознании поэта и породила апокалипсическое ощущение близкой гибели мира сего. “Нища братия” вопиет Спасу о чудовищном преобразении сущего, где живому не становится места:

*Али мы тебе не служители,
Нищей лепоты не рачители,
Не плакиды мы, не радельщики,
За крещёный мир не молельщики,
Что нашло на нас время тесное,
Негде нищему куса вымолить,
Малу луковку во отишье съесть?
Во посад идти — там табашники,
На церковный двор, — всё щепотники,
В поле чистое, — там Железный Змий,
Ко синю морю — во море Чудище!*

*Железняк летит, как гора валит,
Юдо водное Змию побратень:
У них зрак — огонь, вздохи — торопы,
Зуб — литой чугуи, печень медная...
Запропасть от них Божью страннику,
Зверю, птичине на убой пойти,
Умнои рыбаце в глубину спляснуть!*

Услышал Спас жалобу молельщиков — и природа начинает оживать в каждой земной твари: “Скокнул заюшка из-под кустышка, вышел журушка из болотины, выдра с омота наземь вылезла, лещ по заводи пузыри пустил, ель на маковках крест затеплила. . .” Природа у Клюева одухотворена изначально — в её земной реальности, запечатлённой тонкой кистью, как в доличном иконном письме, — он прозревает явление Духа Святого и слышит неземной Глас, вещающий торжество Ума Любви над Умом Зла: “Положу препон силе Змиевой, прорашу в аду роци тихие, по земле пуцу воды сладкие, — чтобы демоны с человеками перстнем истины обручилися, за одним столом преломляли б хлеб, и с одних древес плод вкушали бы! . . .” В этом пророчестве ад перестает быть адом и демоны теряют свою демонологическую сущность, становятся иными, то есть возвращаются к своему прежнему ангельскому состоянию,

одолевая любовью зло, вошедшее в них после исторжения из райских кущ... И суждено молящимся старцам “по лугам идти – муравы не мять, во леса ступить – зверю мир нести...” Но молчать об открывшемся им до тех пор,

*Когда солнышко засутемится
И черница-тьма сядет с пльцами
Под оконце шить златны воздухи, —
Чтоб в простых словах бранный гром гремел,
В малых присловьях буря чулась...*

Бог весть что открывалось здесь Ключеву. Не о грядущем ли вселенском катаклизме речь, когда человек, по Иоанну Богослову, увидит “новое небо и новую землю, ибо прежние небо и земля миновали”?.. В том же году, в преддверии мировой войны, обрушение земных столпов воплотится уже не в иносказании, а прямым текстом в стихотворении, при жизни не отданном в печать:

*Наша земля — голова великана,
Мы же — зверушки в трущобах волос,
Горы — короста, лишай — океаны,
В вечность уходит хозяина нос.*

*В перхоть мы прячем червивые гробы,
Костные скрепы сверлом берем.
Сбудется притча: Титан огнелобый
Нам погрозится перстом громовым.*

*Коготь державный косицы почешет, —
Хрустнут Европа, безбрежный Китай...
В гибели внуков ничто не утешит
Светлого Деда, возрастившего рай.*

И рядом с этой апокалиптической картиной – возникает другая, картина убежища мужицкой души и плоти под покровом Лица Святого, воплощённого дониконовскими иконописцами, Лица – растворённого в приметах родной земли, укрытой незримым омофором.

*Посконным портам не бывает износу,
К моленной рубахе нечистый не льнёт...
Строй келью под елью оконцами к плёсу,
Где пегая зыбь и гагарий полёт.*

*Пречудный Андрей, что зовётся Рублёвым,
Знал пегую глубь, легкопёрость гагар,
С плакучей берёзы на злате еловом
Списал он Два Плача и Троицын Дар.*

.....
*Олимпий Печерский и Гурий Никитин
Воспели корягу в Небесных Столпах —
То Руси судьбина, но образ тот скрытен,
Улыбкой почив на мужицких Христах.*

“Мужицкие Христы” – это не только лики на иконах. В каждом шве моленной рубахи мужицкой – Христово явление в молчании, в тайне, которую хранят заповедные клады народного слова и образа, то величие народного сказания, что дремлет до поры, когда настанет час урочный воплотиться в живое на “новой земле”.

*Мужицкий тельник: Змий, Огонь,
Крылатый Лев Евангелиста,*

*Христа гвоздиная ладонь —
Свирель, что тайной голосиста.*

*Горыныч, Сирич, Царь Кащей —
Всё явь родимая, простая,
И в онемелости вещей
Гнездится птица золотая.*

*В телеге туч неровный бег,
В метёлке — лик метлы небесной.
Пусть чёрен хлеб и сумрак пег, —
Есть вежи к родине безвестной...*

Время в этих координатах проходит не так, как в обычной жизни. Течение времени здесь напоминает единый миг, включающий несколько земных жизней, проходящий в русских волшебных сказках, о которых ходит давнее предание, что родом они из града-Китежа... И мир вокруг живой, смущающий или успокаивающий душу своим заветным дыханием.

*Мне отдых кажется находкой
И лаской песенка сверчка...
Душа избы старухой-тёткой,
Дремля, сидит у камелька.*

*Прядётся жизнь, и сказка длится,
Тысячелетья родит миг...
Буран, как пёс, рычит и злится,
Что в поле тройки не настиг.*

*Потёмки взором человечьим
Пытают совесть: друг или тать?..
Отрадно сказкой, вьюжным вечем,
Как явью, грезить и дышать.*

Тишина сгущается, набухает молчание, рождая в сладости покоя тревогу перед неизбежным: друг или тать?.. Тать не замедлил своим приходом.

* * *

18 июля Николай II подписал указ о всеобщей мобилизации, а 20-го обнародован манифест об объявлении войны Германии. Российская империя вступила в 1-ю мировую войну — и это вступление стало началом конца великого государства.

Ликование подданных было беспредельным. Возле императора уже не было Столыпина, однажды спасшего Россию от вступления в балканскую войну, грозившую перерасти в мировую. Не было и Григория Ефимовича Распутина — также яркого противника войны, который был тяжело ранен в самые роковые дни женщиной, даже не знакомой с ним лично, наведённой “на нужный след” агентурой промышленников, тесно связанных с Англией и Францией, и ох как заинтересованных в военной авантюре!

Их слушал император, воодушевлённый идеей помощи братьям-славянам и возможностью выйти к Черноморским проливам и водрузить православный крест над Святой Софией в Константинополе. Преодолевал тяжкие сомнения — и слушал. Гласом вопиющего в пустыне осталось пророческое послание Николаю бывшего министра внутренних дел, члена Государственного совета Петра Николаевича Дурново:

“... Начнётся всё с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнётся яростная кампания против него, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти по-

следние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения, сначала чёрный передел, а затем и общий раздел всех ценностей и имуществ... Армия, лишившаяся... за время войны наиболее надёжного кадрового состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишённые действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддаётся даже предвидению..." Это писалось в феврале 1914 года (и так всё и произошло), а через полгода в столице толпа на углу Большой Морской и Исаакиевской площади громила немецкое посольство, за употребление немецкой речи нарушителей сажали на три месяца в тюрьму или штрафовали на сумму до трёх тысяч рублей. И художник Константин Сомов записывал в дневнике: "Поражение наших войск, уничтожено два корпуса, убит Самсонов (генерал Александр Васильевич Самсонов, потеряв управление войсками, застрелился 19 августа. — С. К.). Позорное переименование Петербурга в Петроград".

А это — слово Ольги Снегиной, хорошо знакомой Клюеву писательницы, вещавшей явно не от своего только имени в "Северной звезде":

"Для многих измученных, разбитых жизнью людей начавшаяся война явилась чем-то в роде последнего прибежища. Открылась возможность уйти от бесплодного отчаяния, избавиться от тщетных страданий, исправить, вновь склеить то, что было непоправимо раздавлено" ("Последний миг").

"Непоправимо раздавленное" — это, без сомнения, подавленная революция. Клич "Гром победы, раздавайся!" веселит душу, предчувствуемая, должна пролиться кровь добавляет адреналину, великая цель — братья-славяне и проливы — не даёт усомниться в справедливости совершаемого. А для людей авантюрного, воинственного склада — это вообще долгожданный час.

*И в рёве человеческой толпы,
В гуденье проезжающих орудий,
В немолчном зове боевой трубы
Я вдруг услышал песнь моей судьбы
И побежал, куда бежали люди,
Покорно повторяя: "Буди, буди".*

*Солдаты громко пели, и слова
Невнятны были, сердце их ловило:
"Скорей, вперёд! Могила, так могила!
Нам ложем будет свежая трава,
А положом зелёная листва,
Союзником — архангельская сила".*

*Так сладко эта песнь лилась, маня,
Что я пошёл, и приняли меня,
И дали мне винтовку и коня,
И поле, полное врагов могучих,
Гудящих грозно бомб и пуль певучих,
И небо в молниенных и рдяных тучах.*

(Николай Гумилёв)

Клюев же лишь считанные разы возвращается к прежним "былинным", богатырским образам, когда его богатырь, "восстав за сирых братьев", готов и в белградской "гридне" пить свадебную брагу, и "дружку-Прагу" дарить рушником, да в предвестие богатырских гробов, что "кроет ковыльная новь", слушает голоса, идущие из старых курганов, ибо "Муромцы, Дюки, Потоки Русь и поные блюдут..." Но уже вторгается недобрый шёпот, предвещающий, как Див в "Слове о полку Игореве", кровавую жатву: "Чур нас! Вещуны сороки щёкот недобрый ведут..." Да, "война, в шестнадцать лет ты, как сказка роковая", — мечтает юная девица, во сне "летя душой за победным Иисусом"

под старческое шамканье нянюшки о том, что “лён отсырел, бабьих слёз на Руси прольётся море... Молвь идёт, что сам Христос снизойдёт на землю скоро...” Но до Пришествия, поистине, море слёз прольётся по погибшим. Бабий вой обо всём сказал во время гулянок новобранцев — и клюевские старухи да бабы плачем ли, скорбным ли молчанием поминают ушедших в унисон с поминанием, которое творит по ним родная темень и тишь.

*На завалинах рать сарафанная,
Что ни баба, то горе-вдова;
Вечерами же мглица багряная
Поминальные шепчет слова.*

*Посиделки, как трапеза братская —
Плат по брови, послушней кудель...*

“За други своя!” — эта печать неизгладимо лежит на стихах, написанных Клюевым в начале войны. Только проходит время — и в свои права вступает переживание народной трагедии, когда поэт видит войну глазами народа — народа убиваемого, глазами земли — земли, остающейся без хозяина, глазами природы — природы, плачущей по ушедшим в небесное воинство.

*Что ты, нивушка, чернёшенька,
Как в нужду кошель порожнёшенька,
Не взрастила ты ржи-гуменницы,
А спелегала — к солнцу выгнала
Неедняк-траву с горькой пестушкой?*

*Оттого, я, свет, чернотой пошла,
По омежикам замуравела,
Что по вёдру я не косулена,
После белых рос не боронена,
Рожью низовой не засеяна...*

Изба печалится и криком кричит: “Воротись”, — вопю доможирщику, своему ль избяному хозяину... Видно, утушке горькой — хозяйшке вековать приведётся без селезня...” И “дорога-путинушка дальняя” вещает, как по ней “проходили солдатухи с громобойными лютыми пушками”, с боевыми песнями, с зарокими великими “постоять... за мирскую Микулову пахоту”, в то время как “стороною же, рыси лукавее, хоронясь за бугры да валежины, крались смерть, отмечая на хартии, как ярыга, досрочных покойников...”

Старый русский словарь, бытовавший и бытующий на Севере, настоенный на древних корнях, Клюеву, как заветный круг, которым он огораживает себя и свой мир от проникновения чуждого духа, идущего от мира “царя железного”... Поэту не было нужды, в отличие от многих его современников, искать нужное слово у Даля или у кого-либо ещё из собирателей и исследователей народной речи. Он жил в этой языковой стихии сызмальства и с избой, елью, лесной тропой — изначально живыми для него — общался на родном им и ему языке. На нём и писался самый, пожалуй, красочный и монументально выстроенный, как русская изба — колено в колено, — насыщенный, плотно уложенными смыслами, поэтический сказ его военного времени — “Беседный наигрыш, стих доброписный”.

Он послал его в “Ежемесячный журнал” Виктору Миролубову, снабдив предуведомительным письмом от 16 апреля 1915 года, ощущая настоящую необходимость ответить на все сомнения издателя по поводу изменившегося клюевского стиля.

“Усердно прошу и впредь не оставлять моих писем без ответа, особенно тех, которые порождены сомнениями о моём творчестве. “Нездоровая суета”, которой я, как Вы пишете, должен остерегаться — мне ненавистна и никогда не обольстит меня, как и город, и люди, обожившие “Бродячую собаку”. Совет же Ваш “гордо держать сердце” давно доказан мною делами, хотя бы, например, моим отношением к князьям поэзии... В меня не вмещается учёное понятие о том, что писатель-певец дурно делает и обнаруживает гадкий вкус,

если называет предметы языком своей родной местности, т. е. всё-таки языком народным. Такое понятие есть лишь недолговечное суеверие. Народная же назывка — это чаще всего луч, бросаемый из глубины созерцания на тот или иной предмет, освещающий его с простотою настоящей силы, с её огнём-молнией и мягкой росистой жалостью, и не щадить читателя, заставляя его пробиваться сквозь внешность слов, которые, отпугивая вначале, мало-помалу оказываются обладающими дивными красотами и силой, — есть для поэта святое дело, которое лишь обязывает читателя иметь больший запас сведений и обязывает на большее с его стороны внимание. В присланном Вам мною моём “Беседном наигрыше”, представляющем из себя квинтэссенцию народной песенной речи, есть пять-шесть слов, которые бы можно было объяснить в подстрочных примечаниях, но это не только изменяет моё отношение к читателю, но изменяет и само произведение, которое, быть может, и станет понятнее, но в то же время и станет совсем новым произведением — скорее нарушением моего замысла произвести своим созданием известное впечатление. Поэтому будьте добры и милостивы не делать никаких пояснительных сносок к упомянутому “Беседному наигрышу” и оставить его таким, каким я Вам его передал, причём напечатать его в майской книжке журнала, но не летом в июне, когда (как принято думать) пускаются вещи более слабые и бочком протискиваются папиросные стишки...

“Беседный наигрыш, стих доброписный” с эпитафией из “Отпуска — тайного свитка олонцевских сказителей скрытников” появился в “Ежемесячном журнале” лишь в конце года без каких-либо подстрочных примечаний вместе со стихотворением “Что ты, нивушка, чернёшенька”, носившим тогда название “Мирская дума”.

(Продолжение следует)